

Р Э И Х А Р Т

A romantic couple in a restaurant. The man, with light brown hair, is wearing a white shirt and a light-colored blazer. The woman, with brown hair in a bun, is wearing a white shirt and a black vest. They are looking at each other and about to kiss. In the foreground, there is a table with two wine glasses and a small white rose. The background shows a chandelier and large windows.

ЗОЛУШКА И ОЛИГАРХ

18+

ЦЕНА ОДНОЙ КЛЯТВЫ

Рэй Харт

**Золушка и олигарх.
Цена одной клятвы**

«Автор»

2026

Харт Р.

Золушка и олигарх. Цена одной клятвы / Р. Харт — «Автор»,
2026

Дима сказал: «Я на тебе женюсь». Алеся ответила: «Я выйду замуж только за богатого». Им было девять и одиннадцать. Он исчез на тринадцать лет. Она сбежала в Москву, чтобы стать актрисой, а стала официанткой. Он вернулся - высокий, красивый, неприлично богатый. Теперь у него есть всё, чтобы исполнить её детскую мечту. Вот только сама Алеся больше не хочет, чтобы её покупали. Но как отказаться от мужчины, который помнит каждое твоё слово? И как устоять перед любовью, которая ждала своего часа тринадцать лет? История одной клятвы, цена которой оказалась выше любых денег.

© Харт Р., 2026

© Автор, 2026

Рэй Харт

Золушка и олигарх. Цена одной клятвы

Пролог. Дерево

Они сидели на старом дубе, что рос на самой границе посёлка, там, где обжитая земля кончалась и начинался дикий, тёмный лес. Дерево это было не просто большим — оно было древним, как сама земля под ним. Его ствол, в три обхвата, весь в глубоких, извилистых трещинах, напоминал могучий торс старого воина, покрытый шрамами. Ветви, толщиной с хорошее бревно, расходились в стороны на такой высоте, что, сидя на них, можно было видеть весь посёлок как на ладони: серые, покосившиеся крыши домов, узкую ленту реки, блестящую в лучах заходящего солнца, чёрную полосу дальнего леса на горизонте.

Место это было особенным. Сюда не ходили взрослые — слишком трудно было продирается сквозь кусты бузины и крапивы у подножия. Сюда не лазили другие дети — побаивались высоты и мрачноватой мощи старого исполина. Дуб стал их тайным убежищем, их крепостью, их собственным миром, отгороженным от всего убогого и страшного, что творилось там, внизу.

Дима и Алесе знали его до последнего сучка. Знали, что на третью ветку слева не стоит наступать всей тяжестью — она надломлена ещё в позапрошлогоднюю грозу. Знали, что в развилке у самого ствола есть уютная ложбинка, где можно сидеть вдвоём, прислонившись спинами к шершавой коре. Знали дупло на высоте четырёх метров — их тайник, где хранились сокровища: фантик от импортной шоколадки, привезённой Диминой тётей аж из самой Прибалтики, перо сойки, переливающееся сапфировой синевой, и странный, ржавый, но очень красивый кованый гвоздь, который они нашли у развалин старой кузницы.

В этот сентябрьский вечер они сидели на разных ветках: он — чуть ниже, на мощном, надёжном суку, она — выше, на более тонкой ветви, которая слегка пружинила под ней, когда она болтала ногами. Солнце уже клонилось к закату, и его лучи, пробиваясь сквозь поредевшую листву, заливали всё вокруг расплавленным золотом. Воздух был пронзительно чистым и прозрачным, как бывает только ранней осенью, когда летний зной уже спал, а холода ещё не пришли. Он пах горьковатым дымком — где-то на огородах жгли ботву, — прелой листвой, мокрой корой и той особенной, терпкой свежестью, которую источает лес перед закатом.

Где-то глубоко в чаще, словно метроном, отсчитывающий последние мгновения этого дня, стучал дятел. Его глухие, размеренные удары разносились в тишине, и Алесе казалось, что это само время стучит, отмеряя секунды, которые им осталось провести вместе.

Диме было одиннадцать. По деревенским меркам — уже почти мужчина. Он и выглядел старше своих лет: худощавый, но жилистый, с широковатыми для его возраста плечами и той особенной, угловатой складкой между бровей, которая появлялась у него всегда, когда он о чём-то напряжённо думал. Светлые волосы, выгоревшие за долгое, жаркое лето до цвета льна, падали на лоб неровными прядями. Он то и дело откидывал их назад нетерпеливым движением головы. Глаза — серые, как река под пасмурным небом, — смотрели на мир пристально и требовательно. Он был сыном школьной учительницы и инженера-путейца, мальчиком из «хорошей» семьи. У них дома всегда пахло выпечкой, на полках стояли книги, и мама, укладывая его спать, читала ему на ночь греческие мифы — про Геракла, про Одиссея, про героев, которые проходили через немыслимые испытания и возвращались домой. Дима хотел быть похожим на них.

Алесе было девять. Она сидела на ветке повыше, поджав под себя босые ноги, острые коленки торчали из-под ситцевого платища. Платье это, когда-то голубое в мелкий цветочек, теперь почти выцвело от бесконечных стирок, но было безупречно чистым. Алесе стирала его

сама, стирала яростно, до дыр, словно пыталась отмыть не только грязь, но и сам запах того дома, в котором жила.

Тёмные, густые волосы, влажные у висков от вечерней росы, были заплетены в две тугие косички с вытертыми капроновыми бантами. Она крутила в тонких пальцах сухой дубовый лист и смотрела вниз, на крыши домов, что казались отсюда серыми заплатками, кое-как пришитыми к бурой земле.

Она была красива той особенной, трогательной красотой, которая обещает расцвести с годами во что-то необыкновенное: чистая линия лба, огромные, тёмно-карие глаза, опушённые густыми ресницами, тонкий нос, упрямый, чётко очерченный рот. Но главное было в этих глазах. В них, на самой глубине, плескалась совсем не детская тоска — тёмная, глубокая, как вода в старом колодце. Тоска, которая появляется у детей, слишком рано узнавших, что такое голод, страх и бессилие.

Она жила с матерью и отчимом в доме на Вокзальной улице — покосившейся избе с просевшим фундаментом и ржавой крышей. Дом этот был особенным. В нём никогда не пахло пирогами. Там пахло перегаром, кислыми щами, дешёвым табаком и тем неуловимым, затхлым запахом, который бывает в жилищах, где поселилась безысходность.

Отчим Алеси, Валера, был существом непредсказуемым и страшным — то тихим и даже шутливо-ласковым, то взрывающимся пьяной яростью, которая сметала всё на своём пути: мебель, посуду, мать, саму Алесю. Девочка рано научилась читать его настроение по шагам на крыльце, по тому, как он стучал сапогами, входя в дом. Тяжёлые, быстрые шаги — беда. Нужно прятаться за шкаф, сидеть тихо, как мышь, молиться, чтобы не заметил. Медленные, шаркающие — можно выдохнуть, значит, устал и скоро захрапит.

Она знала, что такое голод. Не тот аппетит, который появляется у ребёнка после долгой игры на свежем воздухе, а настоящий, взрослый голод — тупой, сосущий ком в животе, от которого темнеет в глазах и кружится голова. Она знала, что такое синяки — на плечах, на спине, на ногах. И знала, что такое сидеть у окна и ждать, сама не зная чего: может быть, чуда? Может быть, что кто-то придёт и спасёт? Но чуда не случилось.

Димка стал её спасением. Не чудом — чудо было бы слишком эфемерным. Он был реальным, твёрдым, надёжным. Он появился в её жизни два года назад, когда она, семилетняя, сидела на крыльце школы, уткнувшись лицом в колени, не в силах идти домой. Из рукава её старой кофты, прямо к запястью, тянулся свежий кровоподтёк — багрово-синий, с жёлтым ореолом по краям. Димка, проходивший мимо с ранцем за плечами, остановился. Он ничего не спросил. Просто сел рядом на корточки, порылся в кармане и молча протянул ей яблоко. Большое, краснобокое, с вощёным бочком. Такие яблоки привозили из города, они стоили дорого, и их ели только по праздникам.

— Ешь, — сказал он тогда.

И она съела. А он сидел рядом и смотрел в сторону, делая вид, что разглядывает облака. Так началась их дружба — странная, выкованная не общими играми, а общей бедой, которой, казалось бы, у Димы и быть не могло. Но он чувствовал её боль как свою. И взял на себя ношу, которая была ему не по годам тяжела: он стал её защитником, её единственной опорой, её молчаливым стражем.

Теперь, сидя на дубе в этот золотой вечер, они молчали. Молчание это было наполнено тем, о чём оба думали, но боялись сказать. Завтра Дима уезжал. Навсегда. В далёкую, непонятную страну под названием Германия, куда его отца перевели по работе. Алесь знала это, и внутри у неё всё леденело, но она запретила себе плакать.

Димка заговорил первым.

— Я когда вырасту... — начал он глуховатым, чуть охрипшим от долгого молчания голосом. Он не смотрел на неё. Он смотрел на её дом — ту самую покосившуюся крышу, что виднелась в прорехе между голыми тополями. — Я на тебе женюсь, Алесь. Честное слово.

Слова упали в осеннюю тишину, и Алеся замерла. Сухой лист перестал крутиться в её пальцах. Сердце на мгновение остановилось, а потом забилось часто-часто, как у испуганной птички.

Он не говорил так, как обычно говорят дети — «давай поженимся, когда вырастем». Это была клятва. Настоящая, мужская, выкованная из его одиннадцатилетней решимости. Та самая, которую он давал себе уже давно, просто до этого дня не осмеливался произнести вслух. Теперь, на пороге разлуки, слова эти прозвучали как последняя надежда. Надежда на то, что разлука — не навсегда. Что однажды он вернётся. Что он её спасёт.

Алеся подняла на него свои огромные глаза, в которых блеснула влага, но тут же была подавлена усилием воли. Она смотрела на его светлый затылок, на напряжённые, чуть приподнятые плечи — он ждал ответа, ждал, сам не зная чего. И она понимала: сейчас она должна либо принять эту клятву, либо разбить её.

— Не получится, — сказала она. Голос её был тонким, как стебелёк, но твёрдым.

Дима резко обернулся, и ветка под ним качнулась. Он уставился на неё — в его серых глазах читалось непонимание и закипающая обида.

— Почему это?

— Ты всё можешь, Дим. Ты защитишь кого угодно, — заговорила она, тщательно подбирая слова, которые были слишком большими и колючими для её девяти лет. — Но я не могу выйти за тебя. Я решила... — она запнулась, набрала в лёгкие воздуха, словно перед прыжком в ледяную воду. — Я выйду замуж за богатого.

Ветки дуба, казалось, замерли. Даже дятел в лесу перестал стучать. Дима хмурился, переваривая услышанное. Он был слишком умён для своего возраста, чтобы воспринять это как простую детскую глупость.

— Зачем тебе богатый? — спросил он коротко и жёстко.

— Потому что я так больше не могу, — слова полились из неё, как вода из прорванной плотины. Она больше не сдерживалась. — Я не могу жить в этом доме. Не могу, когда мама плачет, а он орёт и бьёт её. Не могу прятаться за шкаф и молиться, чтобы он уснул. Я хочу... — она всхлипнула, но тут же взяла себя в руки, вытерла нос тыльной стороной ладони. — Я хочу есть досыта. Хочу, чтобы мама не плакала. Хочу, чтобы никто меня не трогал. Хочу быть свободной. А для этого нужны деньги. Много денег. Я это недавно поняла.

Дима молчал. Его лицо, такое ясное и открытое, в этот миг осунулось, повзрослело на несколько лет. Внутри его детской грудной клетки что-то надломилось. Не ревность — ему не к кому было её ревновать. Это было другое, более страшное чувство — осознание собственного бессилия. Ему одиннадцать. У него в кармане лежат два рубля, которые мать дала на завтрак. А Алесе нужны тысячи, чтобы вырваться из того ада, в котором она жила. И он сейчас, здесь, на этом дубе, не мог дать ей ничего. Ничего, кроме своих слов. А слова его, как выяснилось, стоили не так уж много.

— Хорошо, — сказал он наконец. Голос его прозвучал ровно, почти спокойно, но в нём была та мрачная, холодная решимость, с какой мужчины подписывают капитуляции. — Раз ты так решила. Значит, ты выйдешь за богатого.

Она ожидала, что он начнёт спорить, уговаривать, злиться. Но он просто принял. Принял её правду, какой бы чудовищной она ему ни казалась. И в этом принятии было столько любви и боли, что Алеся вдруг захотела взять свои слова обратно. Засмеяться, сказать, что пошутила, кинуться ему на шею и никогда не отпускать. Но она не сделала этого. Потому что знала — это была не шутка. Это был план её выживания, её единственный шанс не повторить судьбу матери.

Они просидели на дубе до сумерек. Больше не было сказано ни слова. Только когда солнце окончательно село за лес и в воздухе загустела синева, Димка, как всегда, первым спрыгнул на землю — легко, по-кошачьи. Он подал ей руку. Его ладонь была тёплой и надёжной, как

всегда. Она подала свою, и на мгновение их пальцы переплелись в знакомом, успокаивающем жесте — их последнем безмолвном «прощай».

Они пошли по тропинке к посёлку — два маленьких силуэта, исчезающих в вечерней мгле. Никто из них не знал, что на следующее утро машина увезёт Диму, и они не увидятся много лет. Никто не знал, что Алесины слова западут Димке в самое сердце и через годы он вернётся, чтобы исполнить её мечту, сам став тем «богатым мужем», о котором она грезила. И никто не знал, сколько боли, слёз и любви им предстоит пройти на пути друг к другу.

Это была их последняя встреча на том дубе — но не последняя встреча в жизни.

Глава 1. Чужая сторона

Утро перед отъездом Димкиной семьи, она запомнила в мельчайших подробностях, как запоминают лица умерших — с болезненной, почти невыносимой чёткостью.

С утра зарядил дождь — мелкий, косой, противный, какой часто случается в начале сентября, когда лето уже отступило, а осень ещё не решила, будет ли она золотой и щедрой или серой и беспросветной. Капли барабанили по ржавому карнизу, стекали по грязному стеклу, превращая вид за окном в размытую, дрожащую акварель. Дорога перед домом раскисла, покрылась лужами, в которых отражалось низкое, затянутое тучами небо.

Алеся стояла, прижавшись лбом к холодному стеклу их дома на Вокзальной, и смотрела. Она не шевелилась уже, наверное, час — с того самого момента, как в конце улицы показался чёрный автомобиль. Машина была большая, блестящая, совершенно чужеродная на этой разбитой сельской дороге. Она переваливалась по колдобинам, разбрызгивая грязь, словно гигантский жук, который по ошибке заполз не в ту среду обитания.

Алеся видела, как Димка с отцом выносили чемоданы — большие, кожаные, с блестящими замками. Видела, как мать Димы, сухопарая женщина в строгом пальто, последний раз оглядела дом, словно прощаясь с ним без сожаления. Видела, как Димка на мгновение замер у калитки и обернулся. Он смотрел не на свой дом — он смотрел на её окно.

Она не помахала. Не выбежала проститься. Просто стояла, как изваяние, и сжимала в пальцах край занавески — старой, пожелтевшей тюли, которую мать так и не собралась постирать. Ногти впились в растрескавшийся деревянный подоконник, оставляя полукруглые лунки. Ей казалось: если она сейчас пошевелится, то расплатится как сумасшедшая.

Машина тронулась. Димка сел на заднее сиденье, и она видела его светлую макушку сквозь стекло. Вот автомобиль миновал дом бабки Клавы с покосившимся штакетником, вот проехал мимо сельсовета с облупившейся вывеской, вот исчез за поворотом — там, где дорога уходила в сторону трассы. И всё. Тишина. Только дождь стучит по карнизу да где-то в соседней комнате бурчит и ворочается, просыпаясь, отчим.

В тот день из неё ушла последняя частица детства. Она этого ещё не знала, но чувствовала — внутри всё изменилось. Маленькая, тёплая ниточка, связывавшая её с миром, где существуют яблоки, подаренные просто так, где кто-то говорит «я на тебе женюсь» и это звучит не как насмешка, а как клятва. Ниточка оборвалась, и Алеся осталась одна в ледяной пустоте.

Первые недели после его отъезда были самыми страшными. Не потому, что стало хуже физически — физически всё осталось прежним. В доме всё так же пахло перегаром и кислыми щами, Валера всё так же то пил, то не пил, то был тихим, то бушевал. Страшно было другое — осознание того, что она теперь одна. Что некому больше сидеть с ней на дубе. Что некому подать ей яблоко, когда она голодна. Что некому заступиться за неё, когда отчим вваливается в дом пьяный и начинает искать виноватых.

Она ловила себя на том, что постоянно мысленно разговаривает с ним. Идёт по улице и рассказывает ему, как прошёл день. Садится за уроки и думает: «Димка бы это решил в два

счёта». Ложится спать и видит его лицо перед закрытыми глазами. Это было как наваждение, как болезнь, от которой нет лекарства.

Потом боль стала притупляться. Как осколок стекла, попавший в тело, она со временем покрылась капсулой, заросла тканью — уже не ранила так остро, но напоминала о себе при каждом резком движении. Алеся приказала себе забыть. Вырезать его из памяти, как вырезают мозоли. Но это было невозможно.

Он не писал. И не звонил. Она ждала каждый день — первые месяцы с замиранием сердца выбегала к почтовому ящику, ржавой синей коробке на воротах. Но в ящике не было ничего, кроме редких счетов за электричество и пожелтевших газет. Телефон в их доме был — старый, чёрный, с тяжёлой трубкой и диском набора, но он звонил редко, и никогда этот звонок не был адресован ей.

— С глаз долой — из сердца вон, — сказала она себе однажды вслух, стоя перед треснувшим зеркалом в прихожей. — Так всегда бывает. Он там, в своей Германии, уже забыл тебя. И ты его забудь.

Но забыть было нельзя. Можно было только запереть.

И Алеся заперла. Замкнула ту дверь в душе, за которой жили все её надежды, и повесила на неё амбарный замок. Теперь у неё была цель. Цель была простой и ясной: выжить. Выбраться из этого дома. Вырваться из этого посёлка. И никогда, никогда больше не зависеть ни от одного мужчины, который может ударить, напиться, кричать.

Каждое утро, глядя в мутное зеркало, она напоминала себе об этом. В двенадцать лет она выглядела старше — не физически, а по глазам. В её карих зрачках поселилась та самая тоска, которую замечали даже чужие люди.

— Ты чего такая серьёзная, девочка? — спросила её однажды продавщица в сельмаге, взвешивая хлеб. — В твоём возрасте надо смеяться, бегать, а ты смотришь, как старушка вековая.

Алеся ничего не ответила. Просто взяла хлеб и вышла.

Дом на Вокзальной был её клеткой. С каждым днём она ненавидела его всё больше. Обои в коричневый цветочек, насквозь пропитавшиеся запахом табака. Потолок на кухне, вечно закопчённый, с жёлтыми разводами от протечек крыши. Ржавые трубы, которые начинали гудеть и вибрировать, когда кто-то включал воду. Скрипучие половицы, каждую из которых она знала наизусть, — знала, на какую шагнуть, чтобы пройти бесшумно, не привлекая внимания пьяного отчима.

И вездесущий запах. Запах бедности, страха и безысходности. Он въелся в стены, в мебель, в одежду. Его нельзя было выветрить — он возвращался снова и снова, как хроническая болезнь. Алеся боролась с ним как могла. Мылась каждый день, даже если вода была ледяной. Стирала свою одежду с маниакальным упорством, до дыр, только бы та пахла мылом, а не этим страшным, затхлым духом её дома.

Внешность стала её оружием. Осознав это рано, она пестовала её, как генерал пестует армию перед битвой. Тонкие черты лица, доставшиеся от матери, с каждым месяцем становились всё более выразительными. Огромные карие глаза, опущенные густыми, чёрными ресницами, притягивали взгляды. Волосы тяжёлым тёмным водопадом спадали на худые плечи. А главное — та горячая, отчаянная искра, что горела в глубине её зрачков. Она не давала ей сломаться окончательно.

А отчим... Отчим был чудовищем, но чудовищем привычным. Классический провинциальный садист: золотая фикса, прокуренные усы, жилистое, сухое тело, вечно пропахшее «беленькой» и машинным маслом (он работал то ли слесарем, то ли механизатором — точнее Алеся не знала). Валера был непредсказуем, как летняя гроза. Сегодня он мог быть относительно спокойным, даже шутливо-ласковым — проходя мимо, потреплет по голове, скажет: «Эх, красавица, вся в мать». А завтра — ввалиться пьяным и начать крушить всё вокруг.

Алеся изучила его повадки, как биолог изучает опасного хищника. Она знала, что когда он приходит с работы и ставит сапоги с глухим стуком, а не швыряет их в угол — можно выдохнуть. Знала, что когда он молча садится за стол и трёт ладонями лицо — скоро ляжет спать. Знала, что когда он начинает ходить из угла в угол и бросать на мать косые взгляды — пора прятаться.

Она научилась ходить бесшумно. Двигаться тенью, растворяться в обоях, не дышать, когда шаги приближаются к её комнатухе. Её комната была крохотной — кровать, старый шкаф с оторванной дверцей, колченогий стул. Но это было единственное место, где она чувствовала себя в относительной безопасности. Здесь, под подушкой, лежала потрёпанная книжка сказок — её главное сокровище. Она перечитывала её бесконечно, убегая в мир, где добро побеждает зло, где герои спасают принцесс, а чудовища всегда получают по заслугам.

Мать... Мать Алеси, Нина, была женщиной, сломанной жизнью. Когда-то красивая — Алеся унаследовала её глаза, её волосы, её тонкую кость — теперь она была лишь тенью самой себя. Высохшая, преждевременно постаревшая, с вечно испуганным взглядом и тихим, задавленным голосом. Она не боролась. Давным-давно, в самом начале, может быть, и пыталась — Алеся смутно помнила какие-то скандалы, крики, попытки уйти. Но каждый раз всё возвращалось на своё привычное русло. Отчим просил прощения, каялся, даже приносил цветы — и мать таяла.

— Он не всегда такой, — говорила она дочери, оправдываясь. — Когда он трезвый, он добрый. А пьёт он потому, что жизнь у него не сложилась. Ты его просто не зли, доча. Не лезь на глаза, когда он не в духе. И всё будет хорошо.

Ничего не было хорошо. Но Алеся давно перестала спорить. Она поняла: мать не спасёшь. Её выбор — оставаться жертвой, и она, Алеся, не повторит эту судьбу.

Единственным местом, где она чувствовала себя живой, был дуб. Она ходила к нему раз в неделю, а то и чаще. Дерево стояло всё такое же могучее, всё такое же молчаливое. Она забиралась на их ветку — ту самую, на которой сидел он каждый вечер до отъезда, — и смотрела вдаль. Иногда ей казалось, что вот-вот из-за поворота появится мальчишка с выгоревшими волосами, влезет на соседний сук и скажет обыденно: «Ну чего ты так долго? Я ждал тебя».

Но никто не появлялся.

Она прятала в дупле деньги. Купюры — мятые, разномастные, скрученные в трубочку и засунутые в плотный пакет, — копились медленно. Рубль к рублю. Пятёрка к пятёрке. Она подрабатывала где могла: летом — уборщицей в сельсовете, осенью — помогала соседке перебирать картошку, зимой — чистила снег у магазина. Каждая копейка была шагом к свободе.

Она решила: как только накопит на билет до Москвы — уедет. Без оглядки. Без сожалений. Москва — это был символ свободы. Огромный, сверкающий город, где можно начать всё заново. Там нет дома на Вокзальной улице. Там нет Валеры. Там есть театральные институты, которые она видела в старых журналах. Там живут люди, которые не бьют жён и детей. По крайней мере, ей хотелось в это верить.

В четырнадцать лет она окончательно оформила свой план. Два пути: либо стать актрисой, либо найти богатого мужа. В идеале — и то, и другое. Она не была наивной мечтательницей. Она оценивала свои шансы трезво: внешность у неё есть, ум — тоже, талант — мастера в сельском клубе хвалили, когда она читала стихи на празднике. Остальное — вопрос упорства.

И ещё одна мысль иногда приходила к ней по ночам, тайная, запретная. Мысль о том, что где-то там, в далёкой Германии, живёт мальчик, который когда-то обещал на ней жениться. Что, может быть, однажды он вернётся. Что, может быть, она увидит его снова — и тогда всё изменится.

Но она отгоняла эту мысль. Это была опасная фантазия, способная размягчить её решимость. А размягчаться было нельзя. Нельзя надеяться на чудо. Надо работать. Копить деньги. И бежать.

Она сидела у окна своей комнатухи, глядя на дождь, и повторяла про себя, как мантру: «Я выберусь. Я стану кем-то. Я никогда не вернусь в эту яму».

За стеной грохотал пьяный голос отчима, мать что-то тихо ему отвечала. Алеся закрыла глаза и представила огромную сцену, полный зал, свет софитов и аплодисменты. Это помогало. Это давало ей силы жить дальше.

Глава 2. Побег

Деньги она копила три года.

Три долгих года, в течение которых она выросла, хорошела и всё больше отдалялась от матери, которая наоборот с каждым месяцем становилась всё прозрачнее, всё безразличнее к своему ребёнку. Три года, наполненных страхом, голодом и непреклонной, железной решимостью.

К семнадцати годам Алеся превратилась в настоящую красавицу. Деревенские парни, те самые, что когда-то дразнили её «голодранкой», теперь провожали её долгими взглядами. Она не обращала на них внимания. Они были частью того мира, из которого она собиралась бежать. Она видела их будущее: трактор, водка, покосившийся дом и жена с вечно заплаканными глазами. Нет, спасибо. Она выбирала другую жизнь.

Мать почти не замечала её сборов. А может, делала вид, что не замечает. Когда Алеся объявила, что уезжает в Москву, Нина только кивнула и отвернулась к плите.

— Денег у меня нет тебе дать, — сказала она глухо.

— Я сама заработала, — ответила Алеся.

— Ну, смотри. Там, в Москве, говорят, трудно. Но тебе здесь... тоже не сахар.

Это было их прощание. Ни объятий, ни слёз, ни напутствий. Алеся взяла свой дешёвый чемодан — подарок соседки, уезжавшей в город на ПМЖ, — и вышла из дома. Отчим спал в дальней комнате, и его храп разносился по всему дому. Хорошо. Не надо будет врать и изворачиваться.

У калитки она обернулась. Посмотрела на дом — ржавая крыша, покосившееся крыльцо, облупившиеся наличники. Почувствовала мимолётный укол тоски, но тут же задавила его. Это не её дом. Это её тюрьма. А она выходит на свободу.

Поезд «Посёлок — Москва» отправлялся в семь вечера. Вагон был плацкартный, душный, полный чужих запахов — варёных яиц, дешёвого пива и едкого пота. Алеся сидела у окна, прижимая чемодан к груди, и смотрела, как проплывают мимо мокрые перелески, серые поля, убогие полустанки. Сердце колотилось часто, взволновано. Ей было страшно и радостно одновременно. Она не знала, что её ждёт. Но знала одно: обратного пути нет.

Когда поезд тронулся и перрон с одинокой фигуркой матери стал уменьшаться, она не заплакала. В ней уже не осталось слёз. Только сухая, холодная решимость. Только голод — не физический, а тот, что горит в душе. Голод до жизни. До настоящей, полной, свободной жизни, где никто не смеет её ударить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.